

ТОМ 3

ПАСХАЛЬНЫЕ
рассказы



А ОМЯКОВ
Куприн
Черный
Леонтьев
Аверченко



Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу, поэтому во многих произведениях нашли свое художественное воплощение и события Священной истории, и память о них — церковные праздники. Так, литературное значение Рождества давно признано и писателями, и читателями: существует даже жанр «рождественского рассказа». А вот Пасха как главный православный праздник получала художественное развитие только в русской литературе. Существует не малая, во многом пока не собранная антология пасхальных произведений, в создании которой участвовали многие русские поэты и писатели.

Настоящий сборник «Пасхальные рассказы» том 3 — подборка произведений классиков русской литературы, посвященная великому светлomu празднику Пасхи, куда вошли следующие произведения:

- Аверченко Аркадий «Дебютанты»
- Куприн Александр «Московская Пасха»
- Куприн Александр «Бонза»
- Куприн Александр «Пасхальные колокола»
- Куприн Александр «Инна»
- Куприн Александр «Пасхальные яйца»
- Куприн Александр «По-семейному»
- Куприн Александр «Святая ложь»

Лейкин Николай «После светлой заутрени»

Лейкин Николай «Пасхальное гостбище»

Леонтьев Константин Николаевич «Пасха на
Афонской Горе»

Черный Саша «Пасхальный визит»

Хомяков А.С. «Светлое Воскресение»

Пасхальные рассказы

Том 3

Аркадий Аверченко Дебютанты (Пасхальный рассказ)

Никто не может отговариваться незнанием закона.

Неприспособленных к жизни людей на свет гораздо больше, чем думают. Это всё происходит от того, что жизнь усложнилась: завоевания техники, усложнение быта, совершенствование светского этикета, замысловатость существующих законов — от всего этого можно растеряться человеку, даже не страдающему привычным тупоумием.

Раньше-то хорошо было: хочется тебе есть — подстерег медведя или мамонта, треснул камнем по черепу — и сыт; обидел тебя сосед — подстерег соседа, треснул камнем по черепу — и восстановлен в юридических правах; захотел жениться — схватил суженую за волосы, треснул кулаком по черепу — и в лес! Ни свидетельства на право охоты, ни брачного свидетельства, ни залога в обеспечение иска к соседу — ничего не

требовалось.

Вот почему молодые супруги Ландышевы, брошенные в Петербурге поженившимися их провинциальными родителями, смотрели на Божий мир с тревогой и смятением щенков, увидевших и услышавших впервые загадочный граммофон.

Всё было сложно, непонятно.

Вся процедура венчания была проделана теми же умудренными опытом родителями жениха и невесты; о чем-то хлопотали, предъявляли какие-то странные документы, метрические, где-то расписывались, кому-то платили, кто-то держал образ, кто-то лобызал молодых, — и что было к чему — молодожены совсем не понимали.

Еще муж — тот пытался разобраться в сложной путанице русского быта, а жена, прочирикав однажды, что она «ничегошеньки ни в чем не понимает», раз навсегда махнула рукой на всякие попытки осмыслить механику жизни...

Главное затруднение для мужа заключалось в том, что в его мыслях сплелись в один запутанный клубок три различных института: церковь, полиция и медицина. От рождения и до смерти священник, доктор и околоточный царили над жизнью и смертью человека. Но кого, в каких случаях и в каких комбинациях надлежало призывать на помощь — бедный Ландышев не знал, хотя уже имел усы и даже служил корреспондентом в

цементном обществе...

Смятение супругов увеличилось еще тем, что через сотню дней ожидался ребенок, и судьба этого беспомощного младенца была супругам совершенно неведома. Конечно, нужно пригласить доктора

...Ну, а священника... пригласить? А в полицию заявлять надо? Кто-то даст какое-то «свидетельство» или «удостоверение», но кто — церковь, медицина или полиция?

И выражение робости и испуга часто появлялось на лицах супругов, когда они за остывшим супом обсуждали эти вопросы.

Ах, если бы с ними были папа и мама! Те знали бы, что приглашение Ландышевыми полиции при заключение с домохозяином квартирного контракта было совершенно излишне; те отговорили бы супругов от просьбы, обращенной к священнику — выдать «удостоверение» в том, что он служил у Ландышевых молебен... Те всё знали.

Швейцар Саватей Чебурахов постучал в дверь перешагнув через порог и, держа на отлете сверкающую позументом фуражку, торжественно и веско сказал:

— Имею честь поздравить с праздником присно блаженного Светлого Христова Воскресения и пожелаю вам встретить и провести оно в хорошем расположении и приятном

сознании душевных дней торжества его!

Ландышевы сидели за столом и ели ветчину с куличем, запивая сладким красным вином.

При появлении швейцара страшно сконфузились.

— Спасибо, голубчик! — стараясь быть солидным, пробасил Ландышев. — И тебе того же... Воистину... Сейчас, сейчас... Я только вот тут... распоряжусь...

И он выскочил в другую комнату, оставив подругу своей жизни на произвол судьбы.

Но подруга не терялась в таких случаях; она вылетела вслед за ним и сердито сказала, сморщив губки:

— Ты чего же это меня одну бросил?! Что я с ним там буду делать?

— А что я буду делать? — отпарировать муж.

— Как что? Я уж не знаю... Что в этих случаях полагается: ну, похристосоваться с ним, что ли, по русскому обычаю...

— Со швейцаром-то?!

— А я уж не знаю... Я в «Ниве» видела картинку, как древние русские цари с нищими по выходе из церкви христосовались... А тут, всё-таки, не нищий...

— Да постой... Значить, я с ним должен и поздороваться за руку?

— Почему же? Просто, поцелуйся.

— Постой... присядем тут, на диванчик... Но ведь это абсурд — целоваться можно, а руки пожать нельзя!

— Кто ж швейцарам руку подает? — возразила рассудительная жена. — А поцеловаться можно — это обычай. Древние государи, я в «Ниве» видела...

— Постой... А что, если я просто дам ему на чай?

— Не обидится ли он?... Человек пришел с поздравлением, а ему вдруг деньги суешь. У этих рабочих людей такое болезненное самолюбие.

— Это верно. Но просто похристоваться и сейчас его выпроводить — как-то неловко... Сухо выйдет. Может быть, предложить ему закусить?

— Пожалуй... Только как поудобнее это сделать; к столу его подвести или просто дать в стоячем положении.

— Э, чёрт с ними, этими штуками! — воскликнул муж. — Смешно, право: мы тут торгуемся, а он там стоит в самом неловком положении. Неужели я не могу быть почитателем старозаветных обычаев, для которых в такой великий день все равны?... Несть, как говорится, ни эллина, ни иудея! Пойдем.

Ландышев решительно вышел в комнату, где дожидался швейцар, и протянул ему объятия.

А-а, дорогой гость. Христос Воскресе! Ну-ка,

по христианскому обычаю.

Швейцар выронил фуражку, немного попятился, но сейчас же оправился и бросился в протянутая ему объятия.

Троекратно поцеловались.

Чувствуя какое-то умиление, Ландышев застенчиво улыбнулся и сказал гостю:

— Не выпьете ли рюмочку водки?
Пожалуйста, к столу!

Швейцар Чебурахов сначала держался за столом так, как будто щедрая прачка накрахмалила его с ног до головы. Садясь за стол, с трудом сломал застывшее туловище и, повернувшись на стул, заговорил бездушным деревянным голосом, который является только в моменты величайшего внутреннего напряжения воли...

Однако радушие супругов согнало с него весь крахмал, и он постепенно обмяк и обвис от усов до конца неуклюжих ног.

Чтобы рассеять его смущение, Ландышев заговорил о тысячах разных вещей: о своей службе, о том, что полиция стала совершенно невозможной, что автомобили вытесняют извозчиков... Темы изложения он избирал с таким расчётом, чтобы дремлющий швейцаров ум мог постичь их без особого напряжения.

— Автомобили гораздо быстрее ездят, — солидно говорил он, пододвигая швейцару

графин. — Пожалуйста, еще рюмочку. Вот эту — я вам налью, побольше.

— Не много ли будет? Я и так пять штук выпил, а? Да и одному как-то неспособно пить. Хи-хи!..

— А вот Катя с вами вином чокнется. Катя, чокнись по русскому обычаю...

— Ну-с... с праздничком. Христос Воскресе!

— Воистину!

— Представьте себе, у меня в конторе, где я служу, до полутора миллиона бочек цемента в год идет.

— Поди ж ты! Цемент, он, действительно...

— Теперь, собственно, жизнь вздорожала.

— Да уж... Не извозчик пошел, а галман какой-то... Эфиоп.

— Почему?

— Да разве его от подъезда отгонишь? Ни Боже мой. А жильцы протестуются.

— Скажите, вы довольны, вообще, жильцами?

— Да разные бывают. Вон из третьего номера жилища, которая пишет, что массажистка — та хорошая. Кто ни придет — молодой ли, старик — меньше полтинника не сунет.

Швейцар налил еще рюмку и, подмигнув, добавил:

— А то какой-нибудь ошалевший с ее человек и трешку пожертвует. Ей-Богу!

И он залился довольным хохотом.

— А с четырнадцатого номера музыкантша — прямо будем говорить — гниль. Ни шерсти, ни молока. Шляются ученики — сами такие, что гривенник рады с кого получить. Старая, шельма. Никуда. Го-го-го!..

Прикрыв рот рукой, так как им овладела икота, смешанная с веселым смехом, — швейцар подумал и сказал:

— А в девятом дамочка с мужем живет — так прямо памятник ей поставить. Как муж за дверь — так, гляди, каваргард на резинах подлетает. И уж он тебе меньше целкового никогда не сунет. Уж извините-с!

Он игриво ударил Ландышева по коленке:

— Понял?

Супруги угрюмо молчали. Такой красивый жест, как приглашение меньшого брата к своему столу, сразу потускнел.

«Меньшой брат» был человек крайне узких, аморальных взглядов на жизнь: всех окружающих он оценивал не со стороны их добродетелей, а исключительно с точки зрения «полтин и трешек», которые косвенно вызывались поведением его фаворитов. Это был, очевидно, человек, который мог ругательски изругать светлый образ леди Годивы, если бы она была его жилищей, и мог бы превозносить до небес содержательницу распутного

притона...

О добродетелях вообще, о добродетелях безотносительных, этот грубый человек не имел никакого понятия.

— Жилец тоже жильцу розь. К одному явишься с праздником, он тебе пятишку в лапу, — на, разговляйся! А другой, голодранец, на угощение норовить отъехать... А что мне его угощение! — вскричал неожиданно швейцар, упершись руками в бока и оглядывая критическим взглядом накрытый стол. — Если я на полтинник водки тяпнул да на полтинник закуски, так начхать мне на это? Какой ты после этого жилец! Верно? Я генерала Путляхина уважаю, потому это настоящий барин: «Кто там пришел на кухню?» — «Швейцар с лестницы поздравляет». — «Дать ему зеленую в зубы и пусть убирается ко всем чертям!» Вот это барин!

— Позвольте, — сказал Ландышев, вставая. — Я вам тоже дам на чай...

— От вас? На чай? — презрительно сморщил нос швейцар. — Разве от таких берут? Унизил меня, а потом — на чай? Не-ет, брат, шалишь. Молода, во Саксони не была! Какая вы мне компания, а? Шарлы барлы и больше ничего!

Он опустил усталую, отяжелевшую голову на руки.

— Налей еще рюмаху. Эх, хватить, что ли, во

здравие родителей!

— Вот вам два рубля, можете идти, швейцар, — сказал Ландышев, пошептавшись перед этим со своей верной подругой.

— Не надо мне ваших денег — верно? Меня господа обидели — верно? За что?!..

— Уходите отсюда!!

— Сам уходи, трясогузка!

И, облокотившись о стол, швейцар закрипел зубами с самым хищным видом.

Жена плакала в другой комнате, как ребенок. Муж утешал:

— Ну, чёрт с ним! Напьется совсем и заснет. Проспится, гляди, и уберется.

— А мы-то куда денемся? Тоже, мужа мне Бог послал, нечего сказать... Со швейцаром связался.

— Да ты сама же сказала, что в «Ниве» видела...

— Нет, ты мне скажи, куда нам теперь деваться?!

Муж призадумался.

— Э, да очень просто... Пойдем к Шелюгиным. Посидим часика два, три, а потом справимся по телефону, ушел он или нет? Одевайся, милая!

И, одевшись потихоньку в передней, супруги, расстроенные, крадучись, уехали...

Саша Чёрный Пасхальный визит

Квартира возле PORTA NOMENTANA. Выше учительницы, выше штопальщика-портного, даже выше двух синьор, работниц с кустарной фабрики плетеной мебели. На что уж бедные синьоры, но Варвара Петровна умудрилась еще выше поселиться, рядом с голубями.

Из кухни окно в бездонную коробку двора, — смотреть жутко. Будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолустье. Изо всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жареного луку, томатные ароматы, переливающийся из окна в окно гул перебранки и приветствий. Веревки — вдоль стен вниз и поперек из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голосистый поставщик молока и овощей положит что нужно — не подыматься же ему под небеса; на других, слабо надуваясь, сохнет разноцветное тряпье, — словно вымпелы на адмиральском судне в праздничный день. Зато окно из спальни на вольный простор. Глубоко внизу под узеньким балконом кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны неустанно цветущие мимозы — канареечный, нежный дымок. Темный, вечно закрытый сад туго разросся между каменными стенами, — ноге никогда его не коснуться, но глазам отрада.

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской Академии художеств в Италию, в апельсинное царство, два года протосковал, щи варил и программное полотно с лодочниками в красных беретах писал... Простудился, слег, да там на Капри и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком, с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать жизнь. Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу — надо же детей поднимать.

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину ни забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала.

* * *

Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспоминать... Работала она сестрой в местном госпитале — к детям только в свободные часы прибегала. Но спасибо добрым соседям — заботились они о ее детях, как о своих. А потом,

после войны, страна ожила, жить стало всем легче.

Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделье, завела через отельных портье знакомства и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами...

Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски говорить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на базаре и в лавках — только итальянские звонкие слова в ушах и звучат. Вечно в своей суете толкся: то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами... Домой прибегал на минутку, глотал макароны, уроки учил как-то по-птичьи, на ходу, и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо и матери не был в тягость.

Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик, Нина и была утехой. Мать вышивает, а девочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку — слова от матери слышала:

Таня пшенушку полола,
Черный куколь выбирала...

— Мама, что такое куколь?

— Не знаю, котик.

— Ну, какая ты. Русская же песня, а ты не знаешь.

Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет — в который уже раз! — перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата: это снег. Никогда не видела, но, должно быть, очень интересно. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка, Нина видела. Белый-белый ствол и весной желтые червячки-сережки дождем висят... А вот и любимая картинка: «Генерал Топтыгин». Это так медведя в России называют. Сидит в санях — это такая «кароцца» без колес, развалился... Лошади испугались (еще бы!!) и мчатся как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы, такого же цвета, как ее бледные восковые щеки, спустились на глаза...

— Мама, смотритель очень испугался? Что прикажете, генерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него — р-р-р! Правда, мама?

Мать все вышивает, отвечает невпопад, а то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина, почему не для себя, почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них

нет...

Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол: ишь, сколько ниточек! Двадцать раз в день метешь — не помогает.

* * *

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном: сюрприз... белое шелковое платье, канареечная лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она забыла... Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы запек.

Она быстро оделась и с лентой в руках побежала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово... И яйца, веселые и пестренькие, ну разве можно их есть? Жалко ведь...

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:

— Сама оделась? Вот умница... Христос воскрес, Ниночка!

— А как надо отвечать? Я уже забыла...

— Воистину воскресе...

— Во-ис-ти-ну!

И поцеловались они не три, а пять раз взапрос. Так уж случилось.

Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила:

— Ты ведь сегодня не вышиваешь?

— Кто же сегодня вышивает?..

— Вот и отлично. Значит, мы пойдем в зоологический сад. Ты ведь обещала. Да?

— Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а то ты так в руке ее и понесешь.

Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила:

— Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с трещиной. И кулича кусочек. Только потолще, хорошо?

— Возьми, конечно.

Варвара Петровна удивилась: никогда девочка не просит... ест, как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг — четыре яйца и кулич... Фантазия!

* * *

Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой золотистой от песка дорожке. Ишь, как бежит! Куда это она?

Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом:

— Добрый день, синьор, как поживаете?

Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски, по-русски ведь они не понимают.

За поворотом, на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей, как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались: тигр на свободе!

Нина и с тигром поздоровалась. Но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он... поздоровался.

И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый медведь. Остановилась и сказала по-русски — медведь ведь русский был:

— Здравствуй, здравствуй... Скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи... Вкусно! Вот увидишь, как вкусно...

Она аккуратно облупила одно за другим крашенные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал.

— Еще?

Съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу ко лбу, точно под козырек

взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен.

Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала:

«Воистину, воистину!..»

Должно быть, это то же самое, что «на здоровье!..».

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого не доставало... Слезы... «Все съел, Ниночка? Вот и отлично!»

Девочка теребила ее за рукав и весело тараторила:

— Конечно, отлично. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь... Мне сторож давно уже рассказал, что его прислали с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, мама? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассорил. Не то что мартышка какая-нибудь... До свиданья, синьор Топтыгин. До свиданья!

Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных, матово-сизых агав к

пантерам; там маленькие детеныши так смешно в прятки играют, надо насмотреться, а то вырастут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через голый ствол прыгать.

Алексей Степанович Хомяков **Светлое Воскресенье** **(повесть, заимствованная у Диккенса)**

Глава I

Проходя по..... улице, нельзя не заметить большой вывески с полуистертой надписью: «Контора маклера Скруга и Марлева». Хотя, впрочем, Марлева уже семь лет как не было на свете, но его товарищ забывал до сих пор стереть имя покойного с вывески, и контора продолжала по-прежнему слыть под именами обоих. Сам Скруг нередко откликался даже на то и на другое имя.

То был старый, жадный, ненасытный скряга, неутомим, как камень, молчалив, как рыба, скрытен и нелюдим, как улитка. Отсутствие всякой теплоты душевной отражалось во всем его существе и, казалось, оледенило его старое, вытянутое лицо, провело ранние морщины по впалым щекам, сделало его походку неповоротливой и тяжелой.

Маленькие красноватые глаза, тонкие синие губы, сиплый и грубый голос дополняли портрет нашего скряги. Его волосы и брови были седые, словно их занесло снегом, и где бы он ни был, куда бы ни шел, всюду от него так и веяло холодом.

Никто никогда не останавливал его на улице с веселым вопросом: «Здоровы ли вы, г. Скруг? когда же вы ко мне?» Никогда нищий не подходил к нему; никогда ребенок не осмеливался спросить у него: «Который час, сударь?» Никто и никогда не попросил его указать себе дорогу; даже собака слепого сторонилась от него, — отводила к уголку своего хозяина и, махая хвостом, казалось, хотела сказать: «Никогда не видывала я такого сердитого господина и с таким дурным глазом». Но что за дело было до всего этого нашему маклеру? Он умел жить только про себя и для себя одного.

Однажды, накануне Светлого Воскресенья, он сидел за счетами в своей конторе. Святая была ранняя, было холодно и туманно, и сам Скруг часто прислушивался, как прохожие хлопали руками и топали о тротуары, чтобы согреть ноги. На башне только что пробило шесть часов, и уже становилось темно. Скруг сидел за большим столом, возле печки, и нередко приподнимался, чтобы согреться у догоравшего огня; а бедный писарь, сидевший у окна за большими конторскими книгами и не смевший сойти с места, отогревал или, скорее,

обжигал свои окостенелые пальцы на стоявшем перед ним сальном огарке.

— Поздравляю вас с завтрашним праздником, дядюшка! — вскрикнул вдруг веселый голос. То был его племянник.

— А! — сказал маклер. — Всё пустое, — что за праздник?

— Светлое Воскресенье пустое, дядюшка? Вы, верно, сказали не подумавши, — отвечал племянник.

— Не мое дело, — сказал Скруг. — Праздник! Да какое право ты имеешь праздновать? Разве ты так разбогател?

— Ну, а вы какое имеете право быть таким сердитым; вы разве обеднели?

На это Скруг не нашелся ничего отвечать и повторил свое: «А!»

— Будьте повеселее, дядюшка!

— Да с чего мне быть веселым? Разве с того, что живу в таком мире дураков? Празднуют праздники, когда к этим праздникам подходят все денежные расчеты, и на поверку выходит, что человек годом стал старше, а в кармане у него ни копейки не прибыло. Если бы у меня была своя воля, — продолжал он, — я бы всех вас, гуляк и празднующих шутов, повесил на одну осину.

— Дядюшка!

— Племянник!

— По крайней мере, оставьте других в покое, если сами не хотите знать никаких праздников, и даже Светлого Воскресенья!

— А много хорошего в этом праздновании, и много оно принесло тебе пользы?

— Приносит оно пользу или нет, но нельзя не любить это веселое время, уже неговоря, что оно связано со всем, что есть самого святого в нашей вере. Это одно время в круглом году, когда каждый готов открыть другому всю свою душу, когда недруги готовы снова подать друг другу руку и забыть все прошедшее и когда все люди, высшие и низшие, равно чувствуют себя братьями в одном общем светлом торжестве! И потому, дядюшка, думаю, что и я имел от Светлого Христова Воскресенья свою выгоду и пользу, если и не денежную.

— Вы, сударь, славный рассказчик!

— Ну, дядюшка, не сердитесь, а приходите-ка к нам завтра отобедать!

— Я, к тебе?

— А почему нет?

— А зачем ты женился?

— Потому, что я люблю свою жену!

— Ну довольно! Покойной ночи.

— Я от вас ничего не прошу и ничего не требую, почему же бы не быть нам добрыми приятелями? Мне от всей души больно...

— Покойной ночи, — повторил Скруг.

— Так весело поприбавить, дядюшка, — сказал, уходя, племянник и дружески пожал руку писарю.

«А вот тут еще другой молодец! — пробормотал Скруг. — С 15 рублями в неделю, с женой и детьми, — туда же, хочет справлять праздник».

В это время вошло двое довольно видных господ с бумагами под мышкой.

— Скруг и Марлев, если не ошибаюсь, — сказал один из них, — с которым из этих господ я имею удовольствие говорить?

— Вот уже семь лет, как скончался г. Марлев, и именно в эту самую ночь!

— Мы уверены, что вы наследовали от вашего покойного товарища всю его благотворительность...

При слове «благотворительность» Скруг насупил брови, покачал головой и подал назад бумаги.

— После прошедшей дорогой зимы столько есть нуждающихся, не имеющих никаких средств к пропитанию, особенно столько семейств, обремененных детьми, что для Светлого Воскресенья...

— А разве нет рабочих домов и сотен дураков, которые подают милостыню всякому

встречному? — прервал Скруг.

— Всего этого мало, и потому мы решились собрать известный капитал и составить комитет для раздачи вспоможения родителям, а для детей устроить приюты! — при этом видный господин взглянул значительно на Скруга. — Что прикажете записать от вашего имени для праздника?

— Ничего.

— То есть, вероятно, не желаете, чтобы под вашим именем...

— Я желаю одного: чтобы меня оставили в покое. Я боюсь всяких комитетов и не люблю их, так же, как и детей. Притом у каждого, кажется, довольно своих дел и не для чего мешаться в чужие. Я же постоянно занят одними своими делами. Покойной ночи, господа.

Видя ясно, что им ничего не добудется, посетители вышли, а Скруг принялся снова за свои книги.

Время было самое дурное: ветер выл и крутил снегом; ночь была такая темная, что зги не видать; кое-где дрожал слабый свет в погасающем фонаре или блестящие окна магазина кидали длинную светящуюся полосу поперек улицы; наконец пришло время затворять контору и лавки.

Скруг слез важно с высокого конторского стула, а писарь немедля задул свечку и надел шапку.

— Вы, верно, уже наперед считаете весь завтрашний день своим?

— Если позволите, сударь!

— Да, я с радостью бы позволил, если бы за то вычитывался хоть полтинник из жалованья. Но вы себя сочтете обиженным! а?

Писарь улыбнулся.

— А меня вы не считаете обиженным, что плачу вам жалованье за такие дни, в которые вы ровно ничего на меня не делаете?.. За то прошу быть пораньше на следующий день.

Писарь обещал и затем бросился со всех ног бежать домой, чтобы несколько отогреть окостенелые руки и ноги и застать жену и детей еще не спящими перед заутреней.

Скруг застегнул на все пуговицы свой длинный сюртук и тихим мерным шагом отправился домой, раздумывая об ужине и мягкой постеле, когда все добрые люди с нетерпением ожидали радостного благовеста к заутрене.

Он занимал комнаты своего покойного товарища. То был темный, низкий ряд комнат, с разными закоулками, так что иной бы подумал, что они нарочно выстроены, чтобы играть в гулячки.

Когда Скруг подходил к двери, он невольно приостановился и стал вглядываться, хотя, впрочем, на дверях, казалось, ничего особенного не было. Но, не знаю почему, старинный резной замок

показался ему не замком, а старым сморщенным лицом его старого товарища, Марлева. Впрочем, в лице ничего не было страшного; он снова стал вглядываться, и снова тот же замок, который он отпирал и запирает каждый день уже двадцать лет сряду.

Я не скажу, чтобы он испугался, но ему стало как-то неловко. Наконец он храбро повернул ключом, взошел и зажег свечку. Прежде чем закрыть дверь, он снова заглянул, но ничего особенного не было, и он, с досадой, хлопнул дверью так, что громкое эхо раздалось по всему длинному ряду пустых комнат.

Проходя мимо, он заглядывал в каждый угол, под диваны, в шкафы, за ширмы... но нигде и никого не было; наконец он дошел до своей спальни. Старый камин, изношенные туфли, умывальник на трех ножках и кочерга — все было по-старому и на своем месте.

Наконец, успокоенный, он надел халат, колпак и туфли, повернул, против своего обыкновения, два раза ключом в замке и преспокойно сел у огня; но огонь был разведен так скупно, что Скруг едва сам не влез в камин, чтобы почувствовать на себе хотя малое толико отрадной теплоты. Догоравший огарок также едва освещал почерневшие следы комнаты... Впрочем, Скруг любил темноту: ведь она даровая.

Камин был сложен из старинных кафель с выпуклыми фигурами. Когда он случайно поднял глаза, ему показалось, что из-за каждой кафели выглядывает старое лицо Марлева.

Скруг плюнул и отвернулся.

Вдруг громко зазвенел колокольчик, и казалось, как будто все другие колокольчики соседних квартир и домов также зазвенели, соединясь в один громкий набат. Потом послышалось ему, что кто-то волочит цепями в нижнем этаже. Вот слышно, как цепи брякают по лестнице. Наконец, вот и сам Марлев перед ним. Лицо все то же, и тот же парик с хвостиком, сюртук, манжеты и длинный жилет, — но за ним тащилась хвостом длинная цепь из разных стальных кошельков, кованых ящичков, замков, ключей и пр.

Тело его было прозрачно, так что Скруг, всматриваясь, заметил, что сквозь жилет видны две задние пуговицы на сюртуке.

Скруг все еще не верил своим глазам, хотя и чувствовал даже холодное дыхание своего приятеля; наконец, прихрабрившись, он решился спросить у него, полушутя:

— Что вам угодно, сударь?

— Очень многое.

— Не угодно ли присесть, — сказал Скруг, поглядывая на него сомнительно. Ему казалось

очень мудрено, чтоб такое прозрачное существо могло садиться; но оно, несмотря на это, преспокойно устроилось против него и продолжало:

— Ты все еще не веришь в меня и не веришь своим чувствам?

— Потому, — отвечал Скруг, — не всегда я верю им, что всякая дрянь может сбить их с пути; вы, может быть, не что иное, как недоваренный кусок говядины, или сыру, или попавшийся дурной картофель; и потом, мало ли чего не увидишь, если случайно забьется какой-нибудь вздор в голову.

Скруг нарочно храбрился, чтобы сохранить свое хладнокровие. Но когда приятель его вдруг пронзительно и с сердцем крикнул и зазвенел цепями, он ухватился за кресло, чтобы не упасть со страху. Когда же привидение развязало свой широкий галстук и нижняя челюсть упала на грудь, Скруг в ужасе упал на колена и закрыл глаза руками.

— Помилуй, пришелец из иного мира, зачем ты тревожишь меня?

— Ты, который служишь лишь миру и его золоту, теперь веришь ли, что я дух и твой старый товарищ?

— Верю, верю, но зачем ты пришел сюда и откуда эти цепи?

— Я несу цепь, которую сам сковал себе во время жизни; я сам над нею трудился, над каждым

кольцом и вершком ее, и заковал ею свою волю и совесть. Тебя она удивляет?

Скруг затрясся еще больше.

— А знаешь ли ты вес и длину той цепи, которую ты сам ежечасно куешь себе? Семь лет тому назад она была не меньше моей, а с той поры ты не переставал над нею работать! То-то будет цепочка!

Скруг оглянулся назад со страхом и сказал почти со слезами:

— Скажи хоть словечко в утешение.

— Не мне приносить утешение людям; оно нисходит с другого, вышнего мира, и для него есть свои посланные.

Скруг призадумался над слышанным и, по старой привычке, с важностью положил руки в карман, но не подымая глаз и не вставая с колен.

— Но где же искать и найти утешение? — сказал он.

— О жалкая, заключенная, скованная душа! — сказал Марлев. — Не знать, что для каждой христианской души, с смирением творящей свое дело в своем тесном кругу, каков бы он ни был, нет минуты в ее смертной жизни, которая бы не была равно благословенна! Но я? был ли таков? Увы! нет, нет!

— Но вы были всегда хороший делец, — пробормотал Скруг.

— Делец! — вскрикнул его старый товарищ и начал с отчаянием ломать себе руки. — А много я сделал для своих ближних? Часто ли знавал милость, бывал снисходителен к брату?.. — С этими словами он вытянул свою цепь и в неопisanном горе ударил ею оземь.

Последние слова товарища еще больше огорчили Скруга.

— Слушай меня, — продолжал Марлев, — мне недолго оставаться с тобою, я пришел сегодня предостеречь тебя и вместе дать тебе, по старой дружбе, надежду и возможность избежать моей участи. Помни, что я тебе даю ее.

— Вы всегда были моим добрым приятелем, благодарю вас.

— К тебе придут три Духа.

При этих словах Скруг повесил нос и сказал слабым голосом:

— Такову-то надежду вы мне обещали!

— Да!

— Нельзя ли обойтись без них?

— Без них... тебе не избежать моей судьбы.

Ожидай первого завтра, когда колокол пробьет час.

— Но нельзя ли бы было их принять всех зараз, как я делаю с пилюлями или микстурой? — намекнул Скруг.

— Жди второго на следующую ночь, в тот же час, а третьего — на третью ночь, — продолжал

Марлев, не обращая внимания на его слова. — Прощай же и не забывай меня.

С этими словами Марлев взял галстук и начал его подвязывать. Скруг заметил это по щелканью зубов, когда челюсти стали снова приходить на свое место, поддерживаемые толстым жабо.

По мере того как призрак отходил от него, окошко само собой поднималось, и он исчез в сумраке ночи. Улетая, он, казалось, подзывал своего товарища.

Скруг подошел к окошку. Небо было по-прежнему сумрачно, но в воздухе ему слышались странные звуки плача и стенанья, и каждый голос, казалось, стонал себе и ему в обвиненье. И тот же воздух, когда он стал всматриваться, был полон, казалось ему, теней, мчавшихся туда и сюда со стоном и плачем, и каждая тень гремела своею цепью, и каждая цепь — своим особенным звуком. Ему помнилось, что многих он знал в старые годы. Между прочим, он узнал, по его манжетам и толстому жабо, одного своего старого хорошего приятеля, разумеется, такого же скрягу бездушного, как он сам. Страшная, тяжелая цепь гремела и волоклась за ним и, казалось, заставляла кружиться на одном месте, где внизу на приступке сидела оборванная старуха с плакавшим от голоду и холоду ребенком. Прежний скряга не мог свести глаз с зрелища нищеты,

которое он прежде только едва замечал. То протягивал он руки, то рвался подать что-то, — но все безуспешно, и тень его продолжала плакать, как дитя, томиться и стонать над своим бессилием; в этом и состояло общее несчастье, как то замечал Скруг не на одном своем приятеле, но и на прочих, — в том, что перед ними раскрыты были все горести людей, их прежних братьев, и дано было все желание горячей христианской души помочь ближнему, и, казалось, даны были все средства, — но невозможность низойти в прежний мир и загладить прежние дела возвращала их к чувству своего бессилия и вечному плачу над собою и невозвратимым прошедшим. Последняя встреча заставила Скруга еще более задуматься; и на эту минуту ему невольно представилось, что и его ожидает впереди такая же участь. — Он сам не знал, была ли то какая-то странная дремота или сон, или все это виделось ему наяву. Наконец странные звуки и бледные тени мало-помалу стали теряться в воздухе... Все стихло и по-прежнему покрылось серым густым туманом.

Скруг закрыл окошко, бросился, не раздеваясь, на постель и заснул как убитый.

Глава II

Когда Скруг проснулся, было так темно, что

он едва мог разглядеть, где окошко. Начали бить городские часы, и, к его крайнему удивлению, толстый колокол ударил семь, восемь и, наконец, остановился на двенадцати. «Двенадцать, полночь, — а я лег в два утра. Верно, часы испортились: ледяная сосулька попала в колесы».

Он надавил пружину у своего репетитора, и звонкий молоточек также пробил двенадцать. «Не может же быть, чтоб я проспал целый день и захватил еще ночи? Разве с солнцем случилось какое приключение, и теперь еще полдень?»

С этими словами он встал и протер рукавом замерзшее окно. На небе было так же темно, и никого на улице.

Скруг снова лег в постель. Он думал и передумывал, но бескопйство все более и более овладевало им; наконец он было уже убедил себя, что все это был сон, как вдруг часы пробили три четверти, и он вспомнил, что ему обещан новый гость к часу ночи. Эта четверть часа показалась ему необыкновенно длинна и мучительна; наконец куранты заиграли «бим, бом, бом, динь, дон, дон». Скруг едва переводил дыхание, когда мгновенно колокол ударил свой одинокий, громкий — час. Комната осветилась, и что-то отдернуло занавесь постели.

Скруг вскочил и увидел себя лицом к лицу с странным образом. То было, казалось, лицо

ребенка, но с таким строгим, спокойным взором и глубокою мыслью на челе, что, казалось, судьба сохранила зрелому мужу всю свежесть его детства. Белые, как лунь, волосы падали кудрями по плечам; казалось, что не один век уже прожит этой маленькой головкой, а между тем яркий румянец играл на щеках ее и оттенял некоторые черты. Во всех членах была какая-то нежность и детская гибкость и вместе с тем сила мужеского возраста. Его накрывала ярко-белая туника, собранная посредине поясом, блестящим всеми цветами радуги. В руках у него была пальмовая ветка, яркий свет блистал диадемой на челе, а под мышкой он держал шляпу, которая, вероятно, служила ему вместо медного колпака, которым мы гасим на ночь свечку.

— Не вы ли та особа, которой посещение возвестил мне мой приятель?

— Да, — отвечал нежный, звонкий голос.

— Не церемоньтесь у меня! не угодно ли накрыться? здесь холодно. — Ему очень захотелось видеть гостя в шляпе.

— Как! — и при этом маленький Дух поднял голос, — ты уже заранее хочешь погасить этот свет, который осветит тебе твоё прошедшее и будущее?

Скруг почтительно извинился, что, может быть, его обидел, и затем осмелился спросить, чему обязан он чести такого посещения?

— Заботе о вашем благоденствии.

Скруг выразил всю свою благодарность; но вместе с тем подумал про себя, что если бы его оставили хоть на одну ночь в покое, то сделали бы гораздо больше для его настоящего благоденствия.

Видно, что гость прочел в глазах Скруга тайную мысль его и, взяв за руку, громко сказал: «Не противоречить! Встать и идти за мной!»

Скругу было бы совершенно бесполезно отговариваться, что он совсем не привык к ночным прогулкам, что постель тепла, а термометр ниже точки замерзания, что он и одет неприлично, в туфлях, халате и колпаке... Противиться было нечего: его держала рука, нежная, как рука ребенка, но в которой он чувствовал всю силу Геркулеса, Он встал; но когда заметил, что его вожатый отправляется прямо к окну, в отчаянии ухватился за полу его белой туники:

— Вспомните, что я смертный: могу упасть и расшибиться!

— Не бойся, моя рука поддержит тебя и не на такой высоте.

С этими словами они были уже далеко и очутились среди полей на открытой проселочной дороге. Ни малейшего следа большого шумного города; туман и мрак ночи исчезли; был светлый, холодный весенний день, и снег порошил на землю.

— Боже мой, — сказал Скруг, всплеснув

руками, когда он осмотрелся кругом, — я здесь родился, здесь был ребенком!

Тысяча надежд, сочувствий, радостей и забот, давно забытых, одни за другими грозным призраком вставали перед ним и словно носились в воздухе, напевая душе про все ее давно почившее, ею отверженное прошедшее. Казалось, новая, свежая жизнь пробежала по всем жилам.

— У вас дрожат губы и румянец выступил на щеках? — сказал с детскою нежностью его жохатый, — но пойдете; вы, я думаю, помните дорогу.

— Как не помнить! — вскрикнул Скруг с небывалым жаром, — я бы нашел ее ошупью.

— Странно же, во столько лет ни разу не вспомнить... но идемте.

Они пошли по дороге. Скруг узнавал каждое дерево, каждую тропинку... наконец, показался пред ними небольшой уездный городок с несколькими торчащими колокольнями, соборным куполом, вьющеюся рекою и деревянным мостом. Вот едут к ним навстречу крупною рысью несколько телег, усаженных молодыми курчавыми головками. Молодые парни побольше сидели на облучке и погоняли по всем по трем, затягивая веселую песню. Вся эта молодость, казалось, была в большой радости, хохотала, кричала, хлопала в ладоши, другие с тем же хохотом, песнями и

криками шли гурьбой пешком, Скруг вспомнил, что то было Светлое Воскресенье и что многие из его товарищей отправлялись тогда в соседний богатый пригород к своим отцам и матерям.

Он мог назвать почти каждого по имени; но странно, чему он так обрадовался, когда увидел их, так что сердце, казалось, готово было выпрыгнуть; отчего так засверкали давно потухшие глаза? отчего с такою радостью он вслушивался в радостное: «Христос воскрес. — Воистину воскрес», — которыми они менялись с каждым встречным. Какое, казалось, было дело ему до Светлого Христова Воскресенья? Разве оно доставило ему когда-нибудь лишнюю копейку?

— Школа, однако же, не совсем пуста, — заметил его вожатый, — в ней остался один сирота, заброшенный и забытый всеми.

— Да, я знаю, — отвечал Скруг и закрыл глаза руками.

Они повернули в переулок и остановились перед небольшим серым, скосившимся набок домом. Миновав первую большую классную, установленную засаленными столами и лавками, они вошли в другую небольшую комнату назад дома, где возле топившейся печки размыкивал свое горе бедный сирота, которого учитель оставил стеречь школу, пока он сам и все его товарищи так весело встречали Светлое Воскресенье.

Скруг присел на одну из лавок и невольно заплакал над прежним самим собою, которого все забыли.

Ни один звук в пустом доме, было ли то мяуканье кошки за печкой или стон ветра в голых ветвях плакучей березы, скрип далекой двери на дворе или треск и щелканье огня в печке, — ни один звук не пропадал даром для Скруга. Все говорило его душе о ее прежней детской светлой жизни; с каким-то странным наслаждением вслушивался он в каждый беглый отзвук и каждый звук, казалось, какою-то неземною отрадою ложился в его опустелую, черствую душу. Он стал пристальнее вглядываться в своего прежнего себя, и невольно вырвалось у него: «бедный ребенок».

— Я бы хотел... — и с этими словами он судорожно опустил руку в карман, но, оглянувшись кругом и отерев рукавом глаза, продолжал вполголоса: — теперь уже поздно.

— В чем дело? — спросил его вожатый.

— Ничего, — сказал Скруг, — ничего. Вчера вечером остановился у моей двери мальчик, такой же жалкий... Я бы с радостью дал ему что-нибудь теперь, — вот и все.

Дух грустно улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Вперед!»

С этими словами сидевший у огня мальчик вдруг раздвинулся в плечах и вырос на несколько

вершков; в комнате стало темно, дом вдруг пошатнулся еще более набок, окошки рассели, штукатурка попадала в разных местах. Снова стало светло, и все по-прежнему; но как и что, Скруг ничего не мог понять: и прежний он снова один, и школа по-прежнему пуста, ибо также было Светлое Воскресенье; но в этот раз он уже не сидел, спокойно притаившись в углу, а в большом волнении расхаживал большими шагами по комнате.

Скруг и вместе с ним его молодой двойник с нетерпением глядели на дверь. Дверь наконец отворилась, и маленькая девочка лет девяти бросилась к нему на шею и повторяла, целуя его: «Милый, милый братец!»

— Я приехала за тобой, чтоб отвезти тебя домой, братец, — говорила дитя, смеючись от радости и хлопая ручонками, — домой, домой!

— И совсем домой, Катя.

— Да, да! — отвечало дитя, сверкая глазенками. — Домой и навсегда, так, чтобы тебе не возвращаться больше в эту скучную школу. Дядюшка стал гораздо добрее к нам, так что я разрешилась спросить у него: «Пора бы домой братца, дядюшка?» — и он отвечал мне: «Да, пора, и поезжай сама за ним, Катя, с старым Иваном». Ты, однако ж, уже совсем большой человек, Петя, — сказала она, призадумавшись немного, и

вытаращила на него глазки. — Но что за дело: мы с тобой вместе всю Святую... О, если бы ты знал, какое у нас веселое время, другого нет такого в году!

— Да и ты совсем невеста, Катя.

Она прыгала и хлопала в ладоши, то смеялась, то плакала, хотела раз погладить его по голове, но не достала, снова хохотала и встала на цыпочки, чтобы снова поцеловать его. Потом — ну тащить его ручонкой к двери; а он, разумеется, не противился.

Вдруг раздался осиплый голос: «Снести вниз пожитки господина Скруга!» — и вслед за тем показался сам учитель, длинный и худой, и с величественной, но вместе благосклонной улыбкой погладив детей по головке, взял их за руки и повел в соседнюю комнату, где уже накрыт был на стол завтрак: красные яйца, куличи и пасха. Дети поели, поблагодарили учителя и с радостью распростились с ним. Все было улажено, колокольчик зазвенел, и кибитка покатилась.

— Какое нежное создание! Но ему завянуть от первого подувшего ветра! — сказал призрак, обратившись к Скругу. — А какое было любящее сердце!

— Да, вы правы! Боже упаси, чтобы я сказал что-нибудь против нее.

— Но она, кажется, умерла уже замужем, и от

нее остались дети?

— Да, один.

— Ваш племянник?

Скругу стало как-то неловко, и он ответил коротко: «Да».

Они вышли из школы. Веселые, праздничные толпы бродили по улицам, время уже клонилось к вечеру. Они остановились перед одной вывеской, и призрак спросил Скруга, знает ли он ее.

— Как же не знать! Да я здесь был в ученье.

Они вошли. За столом сидел старый господин, такой высокий, что если бы еще несколько вершков, казалось, он достал бы до потолка.

— Боже мой, мой старый добрый хозяин!

Высокий господин встал из-за стола, посмотрел на часы и затем потер себе руки, поправил галстук, улыбнулся и вскричал густым веселым басом:

— Эй, Фома, Петя!

Прежний он Скруга, теперь уже молодой человек, взошел быстро в комнату вместе с своим товарищем.

— Фома, Боже мой! — сказал Скруг. — Да, это он. Как он любил меня, бедный Фома.

— Ну, дети, — сказал хозяин, — сегодня не до работы, и пора подумать о вечере, закрыть ставни, все убрать, вынести все лишнее. — И, прихлопнув в ладоши, прибавил: — Живо!

Все было готово в одно мгновение: столы вынесены, пол подтерт, свечки зажжены и ожидали гостей.

Вот вошла скрипка и начала настраивать, за нею дородная хозяйка с широкой, полновесной улыбкой и три хозяйские дочки, цветущие здоровьем; затем дамы и кавалеры, башмачник с своей дочкой, портной с своим сыном и затем еще несколько гостей, более почетных. Гости было очень много. Все они входили — кто смело, кто с робостью, кто неловко, кто жеманясь; но для всех нашли, однако ж, место, хотя, может быть, и не совсем просторное. И вот пошли пара за парой, взад и вперед, вправо и влево, кружатся и раскланиваются, кто с важностию, кто вприпрыжку. Молодой Скруг увивался около дам; сам старик-хозяин и хозяйка не пропускали ни одного танца и неумоимо выделявали все па. Казалось, все они разучились ходить попросту и только и умеют, что прыгать. Все это время беспрестанно разносились всякие закуски и прохладительные лимонады, красная вода, конфеты, пастила, пряники и орехи. Наконец, пробило двенадцать, скрипка заиграла польской, и гости начали расходиться. Хозяин и хозяйка стали у двери провожать гостей. Много было рукожатий, много поцелованных ручек и добродушных желаний, чтобы так же весело провести и остальные дни

праздника. Наконец все распрощалось, приветствия и чмоканья кончились, и в комнате остались только два молодых человека.

Во все это время Скруг был как вне себя, вся его душа была в том, что он видел, и с своим прежним собою. Все пред ним ожило, и всем он наслаждался, как будто прежний двадцатилетний юноша. Он был в неопisanном волнении и опомнился, когда они были уже одни, и вместо светлых улыбающихся лиц молодых людей глаз его встретился с прозрачным взглядом призрака. Светящаяся диадема на головке блистала ярче, чем когда-либо.

— А как малого стоит, — сказал он, — сделать весь этот пустой народ счастливым.

— Малого? — отвечал Скруг, задумавшись.

Призрак дал ему знак, чтоб он вслушался в разговор двух молодых людей, которые вышли в соседнюю комнату и рассыпались в похвалах своему доброму хозяину, и затем продолжал:

— Он не истратил и сорока рублей: есть из-за чего расточать ему такие похвалы!

— Не в том дело, — сказал Скруг, разгоряченный замечанием, и, забывшись, говоря совершенно как прежний, давно отживший он. — Не в деньгах дело: всякий человек может сделать зависящих от него счастливыми и несчастными, сделать для них всякий труд, легкий или тяжелый,

удовольствием или тягостным источником болей. Скажи лучше, что эта власть его в каждом слове и взгляде, в каждой безделице, которую сама жизнь разве может заметить, а это счастье, которое он разливает, так же драгоценно, как если бы оно стоило ему половины его достоянья.

Он почувствовал на себе взгляд призрака и остановился.

— В чем дело?

— Ничего особенного: я сейчас подумал о своем писаре и хотел бы сказать ему несколько слов.

В это время взошел его прежний он и погасил свечи. Стало темно, и снова они очутились где-то, но где, сначала Скруг не мог разобрать.

— Мне остается немного времени, — заметил его вожатый. — Скорей!

И с этими словами прежний Скруг уже стоял перед ними. Он был теперь мужчина в зрелом возрасте, черты его лица еще не огрубели, как в позднейшие годы, но уже носили на себе печать заботы и страсти к золоту. Заметно было какое-то беспокойное, нетерпеливое движение в глазах, которое показывало, что семя страсти уже брошено и будущее дерево скоро заглушит под своею мертвящею тенью всякое другое человеческое чувство.

Он не был один; возле него сидела молодая

девушка с румяным, свежим личиком и в траурном платье. В глазах ее блестели слезы, точно росинки на восходе солнца. У окошка сидел старик-отец и, казалось, был углублен в чтение какой-то книги.

— Вы сами, может быть, того еще не чувствуете, но другое земное божество вам заменило меня; дай Бог, чтобы оно дало вам те же радости, какие мое сердце обещало... — сказала она с какою-то нежною грустью.

— Что за земное божество? — спросил он.

— Золото, — отвечала она.

Таков всегда бывает свет, — продолжал он, — ничто не бывает так завистливо, как бедность, и ничего не обвиняет она так строго, как всякое искание богатства, и особенно когда оно успешно. — Он уже не мог понять, как эти слова раздирали сердце бедной девушки.

Но она отерла глаза и продолжала с кротостию:

— Я знаю, теперь для вас одна цель и надежда жизни: золото и поклонение людей пред тем золотым кумиром, который вы создадите из себя. Я видела, как все ваши лучшие внушения души, благородные порывы мысли вяли и блекли один за другим под холодным дыханьем золотого идола,

— Так что же? если я и стал во столько благоразумнее, я, кажется, не переменялся к вам. — Она покачала головой. — В чем же?